

Op84

K69

A-347170

Н.КОРСУНОВ
**ЛОБНОЕ
МЕСТО**



ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



0084
К 69

Н.КОРСУНОВ 0084

84/2 = НН. 2) 6-4
+ 0084.5

ЛОБНОЕ МЕСТО

ИСТОРИЧЕСКИЙ
РОМАН



Государственное бюджетное
учреждение культуры

«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

✓
КАЛУГА
ЗОЛОТАЯ АЛЛЕЯ
2008

2-347170

42

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вольные степи, вольный Яик,
К вашим сединам как сын я приник...

Евгений Букин

1

Казачья столица вкоренилась между Яиком и его правым притоком Чаганом. С глинистых яров городок недрёмно следит за гостеприимным, но вороватым, бойким, но трусоватым ордынским заречьем. Тайными перелазами шайки киргиз-кайсаков прокрадываются на казачью сторону, умыкают скот, грабят жилища, полонят людей, продавая их в хивинское рабство. Долго-о-онько это тянулось. Даже в середине XIX века оренбургский купец Степан Деев строит несказанной красоты Покровскую церковь в память дочери, украденной хищниками, — только так называли тогда азиатских татей русские, татары, башкиры. Ни царского, ни барского не платят, джигитуют, не то, что казак, который от веку лямку тянет, за волю не башкой, так мощной отдувается. Впрочем, яицкие казаки тоже хороши! Летом 1760 года, взъярясь, угнали у кайсаков несметно овец, около восьми тысяч лошадей — и ничего не вернули!

Тыла, конечно, чего опасаться, тыл — всё ж Россия-матушка! Три дня скачи до Самары — степь да степь кругом, ни куста, ни деревца, кнутовище не из чего вырезать, в зубах нечем поковырять.

Так оно и было лет с двести, пока Яик считался рекой запольной, то есть за Диким полем находящейся. На казачью волюгу цари поначалу не посягали, мол, спасибо уж и за то, что порубежную заставу держат. Чего-то там хотел Пётра Великий, да его обрезашили: не замай нас, «понеже войско Яицкое из вольных людей... Хоша и царский указ, да и тот не для нас...» Дескать, кнут примем, каторгу примем, казнь примем — неволю не примем! Не жалам! Жалам — как пращурьы заповедали: чтоб вера старая, чтоб борода, чтоб вольная наёмка в государскую службу, чтоб Яик с верховьев до устья — наш...

Незарастимы леса памяти, да не царям в оглядку: с началом сего, XVIII, века всё пошло наперекосяк, тыл оборачивается наиглавной тревогой. Матушка стала мачехой, даже не мачехой — тёткой троюродной. Дотошный Никита Каргин, который с вчерашнего лета прячется по хуторам да уметам, чего баит? Это, слышь, с того, что первопрестольную предали, и правит теперь Русью столица с чужеземным прозванием — Питербурх, а войско Яицкое обложили крепостями Екатерининбурх да Оренбурх. А ещё с того, что на трон русский вскарабкиваются то бывшая гулящая девка Скавронская, то герцогиня Курляндская вкупе с кровавым забавником — нерусью Бироном, то жёнка принца Брауншвейгского, то сын герцога Голштейн-Готторпского, то вот нонеча — принцесса Ангальт Цербстская Софья-Фредерика-Августа, перекрестившаяся в Екатерину Алексеевну. А Каргин — куды тебе как умственный, начитанный, в книгах старого писания лучше, чем в собственной бороде разбирается, хотя борода у него тоже мудрая, обширная, ширьше плеч, да и лысина — до самой спины. К тому ж, лет десять Каргин в Москве казённую службу нёс, наслушался, навиделся там всякого, ибо Москва вся из пересудов и заговоров. Послушать Каргина — для него и Пётр Великий не авторитет: «Царь Кукуйский!» Это — по слободе немецкой в старой столице. Вот что делает с добропорядочными людьми разобитая Москва... А может, гонор у Каргина от зазнайства? Гонял немецкого Фридриха, брал с казаками Берлин в 1760-м, глаголил на заваulinке: «Сам их наипервейший бюргомистер на коленях нашему Салтыкову вот такенный ключ от Берлину вручил! Не кори, слышь, Пётра Семёныч, за супротивность, это всё наш королишка Фридрих заварушки устраиват. Сам-то удрал, а мы, слышь, казлись пред вами... Мы, значит, перво-наперво коней напоили в их речке, Шпрея прозывается, а потом пороховые заводы взорвали... Им ли, тощеедам, учить Расею!..»

Ему, правда, перечит Ванька Почиталин — известный неслух и поедатель печатного слова да прочих учёностей, доступных Яику, чернилами с гусяного пера вспоен. Слыша речи Каргина, задирает тонкие девические брови выше высокого, с молодыми залысинами лба, задирает молодую свою бородку: не в том дело, Никита Афанасьевич, не в нации, слышь, дело, войско Яицкое тоже ведь не из одних русских — полно татар, калмыков, башкирцев, кайсаки есть, а едино живём, службу несём, и под власть Оренбурга нас не инородцы, а русачка Елизавета Петровна отдала. Каргин: «Х-ха! Зелен ты, Ванька, ровно куга болотная. Мать Лизаветина кто жа? Скавронская! То-то жа! Что касасяемо веры, Ваня, веры у нас разные, да Бог един. И нация наша едина — казаки мы!..» Ванька — опять своё: казаки-то казаки, да ухваткой разные, домами — рядом, а дымами — врозь. У кого дым шкварками пахнет, а у кого — слезами, потому как сосед был Ананьей, да стал канальей, вроде того ж старшины Мартеньяшки Бородина. Разве не так?

Так-то оно так, скребётся в бороде Каргин, да всё ж таки не совсем так: цари не дают укороту канальям. Вот что касасяемо Софьи-Фре-

деррики-Августы — эта уж, придушив мужа, эта, согласись, совсем-вовсе! Повели ты, ежели царствуешь, слугам быть справедливыми, пушай разберутся по совести, почему старшины казачьи наглеют и жируют, служивым казённое жалованье годами не выплачивают, сенокосами да рыбной ловлей утесняют, войсковую казну обкрадывают, зачем старшинам нещадная воля казнить и миловать дадена, в ничтожность обращать льготы, высшими властями даденные?

Об том и жалобы беспрестанные в Питербурх преподобный. Сказано в народе: свекровка б...ь — и снохе не верит. Очередная казачья жалба императрице «кажется многими лжами и клеветами наполнена... Это самые плуты, кои для своей корысти... раздувают беспокойство междоусобное на Яике...» Словом, жуй, конь, солому, поминай лето красное, не брыкайся, ты нужен воду возить. Наместнику в Оренбурге отписано монаршее неудовольствие: или ты уже не немец, Иван Андреевич, коли у тебя порядку нет? Или тобой запаматованы мои указы от декабря 1762, от января 1765-го, тако ж от лета 1767 годов, в коих запрещается холопам жаловаться на господ? Сыши последний, за 1767-й: «...как челобитчики, так и сочинители сех челобитен наказаны будут кнутом и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск...»

Иван Андреевич Рейнсдорп в былых ратных делах слыл храбрым, саблями сечён, свинцом мечен, а тут — струхнул, суетно откомандировал в Яицкий городок бравого и прямолинейного, как палаш, генерала фон Траубенберга при отряде с пушками: разберись, голубчик, наведи наш порядок. Голубчик — соколом: «Яволь!» Да, похоже, умом заблудился: замест ладных разбирательств — картечью по вышедшей к нему толпе с образами в руках. Более ста казаков и казачек разом умертвил.

Дурён тот сокол, что на гнезде бьёт. «На начинающего и Бог!» — вскрикнули освирепевшие казаки и бросились на пушки и штыки. Словили генерала, вместе с ним укокали сколько-то офицеров и солдат, заодно и некоторых своих упырей с войсковым атаманом Тамбовцевым во главе.

Тринадцатого января 1772 года то случилось.

«Не в силе Бог, а в правде», — молвил побиватель тевтонских рыцарей на Чудском озере. Правды просил Яик, правды. Не налагай гнева, государыня, наложи милость, разберись, искать на Яике управы мечом — себе дороже. Не вняла. Удила засусила, словно кобылица степная: проучу, мол!

Её веленьем Рейнсдорп полгода собирал на мятежных корпус, поставил над ним другого смертоносца — генерала Фреймана: разберись, голубчик!..

Прослышав о том, казаки наскоро организовали и выступили навстречу. Верстах в шестидесяти выше городка впадает в Яик речка Ембулатовка, длинная, петлявая, неказистая, дышит только малы-ми родниками, на ней и произошло великое, в пагубу казачью, сражение. Превосходством сил и оружия Фрейман сбил заслон.

На Троицу вступил в Яицкий городок.

Многие казаки справедливо предположили: ну, теперь притянут м...е к бороде! Некоторые ж уповали: чего строить предугадки, замерекивать на дольше, авось обойдётся... Не обошлось! Фрейман писал императрице: иначе — неможно, ибо «нравами ж оные казаки упрямы, горды, зверственно злобственны...» Был упразднён казачий круг. Атамана теперь не выбирать, а назначать сверху. Всем ведаёт отныне комендантская канцелярия при коменданте подполковнике Симонове. Видно, в Оренбурхе повыбирали, повыбирали: что лучше, канцелярия или контора? И то, и другое — немецкое. Остановились на канцелярии, слово к латинскому восходит. Можно б, конечно, присутственным местом назвать. Или правлением. Или управой. Или... Не навернулось русское, не вспомнилось.

От Яишкого городка до Питербурха заскрипели канцелярские перья, брыжжа не чернилами — кровью. Точка ставилась на Обломе — так называлась площадь напротив Петропавловской церкви, близ речного обрыва. Соорудили рундук-помост с перилами (для оглашения приговоров), сюда ж вволокли осиновую колоду (рубить головы, руки, ноги), поставили дюжину плаголей (вешать), врыли срамной столб (привязывать к нему и сечь плетью). Рубили, вешали, секли, заковывали в железа, рвали ноздри, клеймили лбы, ссылали в каторгу. Брили бороды и лбы — наряжали в солдатчину. Не обошли «помином» младую надёжу Яика: «316 детей мятежничьих» от пятнадцати лет и выше назначили пороть плетью и розгами — «в страх другим».

После того с Яика не было ни хороших, ни плохих вестей. Иван Андреевич Рейнсдорп радовался, балы следовали за балами. Иван Андреевич округлился, обрёл жирный подзёбок, губы стали сочными, розочкой, уголками вверх (а-ля императрица).

И вдруг... О, майн Готт!

Иван Андреевич засунул пятерню под напудренный душистый парик, поскрёб взмокшее темя, не отрывая голубого взора от донесения яишкого коменданта Симонова. Ужель опять?! Сего не может быть!.. Пресечь! Наказать!..

Придумывая наказание, всё сокрушался, всё сокрушался: как неблагодарны, как неблагодарны! Вспомнил вдруг казачью пословицу: корова телится, а у быка ж... болит. Расхохотался: «А у меня только это, коль... голова полит!..»

И бодро начертал на донесении резолюцию.

2

Субботные дни пахнут курным угаром бань, утопающими в топлёном масле блинами, сыростью лопочущего на ветру белья. А сегодня Устя сноровисто снимает с протянутой поперёк двора верёвки настиранное, высохшее за ночь, бросает его через плечо, нервными весёлыми ноздрями с удовольствием втягивает

чистоту и свежесть белья (хорошо прополоскала в Яике!), вспоминает маманину всегдашнюю присказку: «Бела не бела — в воде побыла, стирала — не устала, повесила — не узнала». Вдыхает неостывший дымок и берёзовую влажность веника из распахнутой саманной баньки, улыбается громкому выпуку мерина под плетнёвым навесом (Бог подаст!), только что журчливо освободившемуся от мочи.

Так же вёртко, живо отнесла бельё в избу, в сенках подцепила коромыслом липовые бадейки, от калитки — влево, к Яику — как раз встречу восходящему солнцу. Простоволоса, чёрная толстенная коса заплетена наслабко, через грудь кинута, по коленкам пушится-бьётся, шёлковый хивинский халат вокруг щиколоток играет-плещется. На плечах вроде и не бабья дуга, коромысло, а — радуга семицветная, лаковая, на которой руки враспах кинуты, как крылья, вот-вот взлетит Устя. Коромысло с бадейками на неделе старший брат Егор подарил — к семнадцатой её весне: «Носи столько годов, сколько Яик будет течь!...» Стало быть, носить не переносить. Не покажется ль век долгим? Был бы век таким, как сегодняшнее утро! Босые ноги — по траве-мураве, чуть влажной и прохладной, по Стремянной улице, одним плечом упёршейся в крутизну яицкого яра, другим — в луговину низкодолого Чагана, зачерпнуть бадейками вверху — и обратно, к высокому солнечному крыльцу, к сосновому куреню в медовых натёках смолы... Родина всегда присердечна, не расплёскана душой. Даже если это кривой скотиний баз во дворе твоём. Зайдёшь в него жарким полднем — сухая навозная духота, блохи, как родня, на голяшки прыгают, над головой, в гнёздах, воробьята вычирикивают. А из заречья иволга аукает... Красота!

Фыркнула мимо, обогнала стайка казачат — не спится в рань такую. Среди них и десятилетний братишка Андреян — мизинный, поскрёбш, после него маманя померла (не ной её косточки на том свете).

— Далёко ль, оглашенные?!

— Дристов насшибали, палить! — на мгновение оборачивается конопатая лупящаяся мордуленция. — Сомовики будем ставить!

Только теперь Устя замечает в кулачках мальчишек придушенных воробьёв. Нырнули под яр. Пожалела Устя «дристов»: хоша и шkodливая птица, не доглядишь — начисто подсолнухи с конопляниками вымолотит, а всё ж тварь Божья, тоже жить хочет.

По крутому взвозу спустилась к дощатым «набирным» мосткам — с них зачерпывают воду. Чуть ниже — мостки пошире, портомойными зовутся. Скот поят ещё ниже, аж за тем вон яром, где начинается песчаная коса — любимая купальня казачьей мелюзги.

Мальчишки в момент соорудили костерок: цокнула стальная плашка о камень, высекая искру, дохнуло тлеющим трутом, затрещало сучьё, потянуло древесным дымом, палёным пером. Сомов казачи не едят — брезгуют лягушачьеброхами, мальчишки их мужланам будут продавать.

На противоположном отлогом берегу из белёсого молодого осинника выскрипел рыдван, впряжённый волами. На поперечной наклёске хохлился бородатый казак в островерхой шапке, за спиной винтовка, а за плечом — пика торчком. Без оружия за Яик — не моги! Хотя и вынесена туда сторожевая линия с пикетами, но ордынский аркан из-за любого куста может взвиться и захлестнуть вокруг шеи.

Слышалось негромкое «цоб-цобе»! Волы вбрели в воду, припали к ней, цедили сквозь губы долго, вдумчиво, столь же неспешно глядели на родной казачий берег, пуская с губ блестящие нити. Казак не торопил, снял с ног сапоги, положил сзади себя, закатал штанины вместе с белыми исподниками, только после этого взмахнул кнутом: «Айда, пошли, пошли!» Волы побрели, побрели, вот уж спины скрылись под водой, морды задраны, во все ноздри отфыркиваются. Поплыли. А казак как сидел, так и сидит на наклёске, посвистывает да подневоливает ласково: «Цоб-цобе, айда, пошли, пошли!» Рыдван плывёт, чего ему: продолнины-поперечины вербовые, оси, чеки, люшны вязовые, колёса нешинованные, дышло осиновое...

Снесло далеко, к самой косе, к горлу переката, где всегда толпятся, нервничают, вечно куда-то торопятся волны-бегунцы. Выехав на косу, рыдван скрылся за скулой яра. Устя улыбнулась хитрецу: если б в объезд, через летний мост — часа два потратил бы, а тут — всего-ничего...

Усте некуда спешить: воскресенье, роздых. Нешто на базар сходить? Рано ещё. С дальнего минарета — чуть слышный вопь муллы, призывающего правоверных к молитве. В церквах лениво бренькают колокола — тоже напоминают православным о долге перед Всевышним. В небе — голубом, свежем — белое облачко, словно ночной ангел пёрышко обронил. И день, похоже, будет чудным. Хотя Яик подле мостка иронично пошлёпывает мокрыми губами: посмотрим, посмотрим! С чего-то шумнул ветерок в вершинах прибрежного тальника, будто кто на банную каменку плеснул. Выскочил наверх, там тоже шумнул, сбил с яра облачко пыли — Яик поморщился. Булькнуло слева грузило ребячьей снасти. Ещё и ещё булькнуло, подальше.

Подобрав полы халата, сошла с мостка в воду, даже у прибрежья ещё ночную, холодную, ощутила подошвами скользкий галечник, ракушки, по-местному — сундучки; поразглядывала белые, сомкнутые стопы: сквозь струящуюся воду растопыренные пальцы — как веер птичьего хвоста; наклонившись, зачерпнула, не снимая коромысла, одной бадейкой, другой...

Дома папаня наводил чистоту на заднем дворе, сделав метлу из куска старой сети, защемлённой в расщепе палки. Во дворе у него, в базу — чистота всегда, хоть иглу теряй.

Налила в корытца курам, курушкам, поросёнку.

— Папань, на базар схожу...

У яицких младший без дозволения старшего — ни-ни, даже из-за обеденного стола, обязательно: «Дозволь, папанечка, от трапезы встать?»

— Ступай-сбегай, дочка, — разрешает Пётр Михайлович.

Он перестаёт мести, поднимает на Устю глаза. Полюбовался. Даже засмеялся в себе, вспомнив шабра Толкачёва, как тот головой качнул давеча: «Н-ну, дочка у те, Михалыч, выпишалась! Прямо принцесса, прямо с червонца чекан, с рублевика серебряного!...» А одна бабака с дальнего, супротивного окрайка городка, узнав, что он из Куреней, стало быть, из самой старой, коренной части, спросила озабоченно: «Скажи, касатик, это што у вас там, на Стремянной, за деушка непомерной красоты живёт? Говорят, уж выкунела, отдатышная уж. Внук заладил: идите сватать!...»

Таких охотников, бабака, как твой внук, в городке более чем волосьев в его, Устиного отца, бороде. Один вон поверх плетня на-уличного выказывается, — Ванечка преподобный, Ефимыча долголикий отрок. Обмирает просто, обмирает, ходу, скажи, не даёт, увязчивый. А сам-то ещё в малолетках, всего по семнадцатой траве пасётся. Они, Неулыбины, все как вроде умом несобратые. Хоша слава такая, может статься, от покойного уж давно Ефима идёт. Был в 1751-м несусветный пожар, почитай, весь деревянный городок выгорел, тысячи с две домов. На остывших углях отстраивались кто как осиливал. Кузнецовы вот сосновый, звонкий шатровик с подклетом подняли. А Ефим решил несжигаемый, глинобитный курень поставить. Нанял самарских мужиков, они пол-лета лили стены. Да, похоже, сильно обижал их по части харчей, всё больше кисляком-арьяном с пресными лепёшками потчевал. Мужики кому-то расшептали секрет своей мести: последний ряд стен залили, слышь, из глины-солонца. Оттого в курене всепогодно сырой дух держится, в холода печь вроде и тянет, и гудит, да отчего-то угар «напускает», с того зимой Неулыбины будто чумовые ходят. Ефим же лечился от сего тем, что уши затыкал овечьими орешками, дескать, «высасывают» негодность печную...

В своей крохотной светёлке Устя сбросила халат и через голову накинула на себя праздничный сарафан, ловко обмахнулась поясом. Как и сарафан, пояс у казачки — особая статья, надлежит ему быть выше пятидесяти вершков длины, он из кручёного шёлка, тканого серебром и золотом, с кистями, как правило — именной. Под руководством Прасковьи Иванаевой Устя чёрной нитью вышила на своём: «Сей поись принадлежит носить Яицкого войска казачке Устине Петровне Кузнецовой».

На крыльцо Устя не выскочила, как обычно, а выплыла недотроженной павушкой, сея поясом солнечные блики, сверкая жемчугом под низи, укрывавшей лоб по самые брови. Но со двора взяла привыч-

ный быстрый шаг. Пётр Михайлович, смотря вослед её шумному, догоняющему лёту сарафана, опять улыбнулся — грустновато: дочь дома, а поступки её на улице. Пока — ничегошеньки плохого с улицы про Устенку, храни её Боже. Ну, а уж сейчас понаоглядываются на неё встречные-поперечные, до храма Петра и Павла, до Казанской церкви, до базарной площади меж ними — некороткая дорога, считай, через весь городок. Не берут Устю ни загар, ни линька, лицо белое-белое, с чутошным набрызгом веснушек подле чеканного (эка чего подметил Толкачёв!) носа, брови тонкие да чёрные-чёрные, как чужие, как у персиянки взаймы взятые. Зато глаза — у-у-у, глазищи, во весь свет, во всю поднебесную — так велики, такая осиянность от них, что просто ай-ай.

Эвон, Ванька Неулыбин уж пристроился. Как вроде в хвост сарафана. Дескать, главное богатство любой казачки не глаза, а сарафан. Иной тыщи стоит. На Усте, конечно, не тысячный, однако ж — хорош-расхорош: из персидской тафты с разводами бирюзовыми, с двойными злачёными галунами от глухого ворота до подола, между которыми рядок высоких, напёрсточком, серебряных пуговиц. А уж подол, подол — м-м-м! Ширина — в пол-улицы, шлейф Устей подхвачен, чтоб не волочился, чтоб Ванька не наступил, через согнутую руку, через локоток кинут. Подол — он почти что заглавная штукавина казачьего сарафана, чтоб вёзся, ташился сзади. Форс, мода! К исподу подола — подкладка (подложка, по-здешнему) пришивается, в четверть шириною, чтоб не обмахривался. А чтоб сарафан был пышней, вниз надевается юбка-подставка.

Пётр Михайлович — шёпотком вдогон:

— Храни тебя Бог, доченька!

Сердце вешало: пока что Устя — синеглазый тигрёнок, ещё не знающий себя и играющий клубком. Какова-то во взрослости будет?..

Летит Устя по Большой Михайловской, ветер и шорох сеет. Мимо приземистого куреня Неулыбиных, куда свернул-таки прилипастный Ванька. Напоследок просительно протянул ей кулёк с имбирными леденцами. Ладно, смилостивилась, ушипнула кончиками пальцев штучку, положила на белые зубки. Хохотнула:

— Ваньча, они у тя, поди, от Адама времён?!

— От Евы долгогровкой, как ты! — Обидчиво хлопнул калиткой...

Летит Устя мимо собора Михаила Архангела справа — крестный поклон отвесила поверх свежего рва и свежего земляного вала, на котором сидят, жмурятся, как коты, гарнизонные солдаты в расхристанных мундирах. Буднями тут с зари до зари лишь их лопаты да кирки взблёскивают, топоры тюкают, ладя фашины. Городок — в полуострове меж рек, а у перешейка замкнут такими ж вот рвом да валом — не подступись, зубы увязишь. Да прошлогодному казачьему казнителю Фрейману уже тогда, видно, неспроста мстилсся вражина

не по ту сторону рва, а по эту: повелел оставляемому с командой коменданту Симонову сромать сундучок в сундуке*.

Вот и возводят вокруг Михайловского собора огорожу глубокую да высокую, наподобие подковы, концы коей упираются в яицкий яр.

С горбины вала, с вязанок тальниковых фашин — охальный выклик:

— Вороти к нам, красотка! У солдата сердце дюже мягкое, да зато штуковина твёрдая!

Другой не отстаёт:

— Кровь киснет, всё виснет!..

Пусть рыгочут, окаянные трубокуры (досюда табачищем доносит, перебивая сладковатость подвяленной тальниковой листвы!), все они не из нашей тучи, а из навозной кучи... Далее, далее, мимо татарской слободы мчит Устя. Скуластые, словно прокопчённые, жидкобородые и жидкоусые правоверные в халатах и тюбетейках выходят из длинной белёной мечети. Идущая встречь черноокая восточная красавица, замедлив шелест шёлкового халата, взносит взор на пик минарета. Не показался ль ей блистающий полумесяц тончайшей золотой подковой, потерянной сказочным конём сказочного принца? Вряд ли, это так Усте хочется думать. Потому что Ванька Неулыбин всё-таки хороший парнишка. Но, конечно, не принц, чего там... Да и утро вон какое хорошее!..

Слева ж, от чаганского моста, погромыхивают рыдваны, вверху нагруженные сушёной, даже издали пахнувшей воблой. На базар! Лошадьми правят матёрые горынычи** в красных косоворотках с расшитыми ожерёлками, в сапогах. Оглядываются: кто там отстал?

— Савельич, не задорживайся! Место займём!

А Савельич топчется возле заднего колеса, чешет башку под шапкой, чрез зубы матерится. Ещё бы! Конец оси обломан, чека размоchalена — слететь колесу. Устя узнаёт Савельича — из Свистуна, что в двадцати верстах ниже городка, за — Меловым сыртом. Непременно наварлся Савельич, как говорят казаки, на пердячую траву, то есть, скорее всего, не уступил встречному дороги, сцепились колёсами, теперь вот... Народ в Свистуне — у! Гонористый, скандальный, где другой уступит с миром, там свистунский сразу за чужой шиворот хватается. Их так и называют: свистунские шиворотники. Они, если

* Архивы сохранили наказ предусмотрительного немца: «Как злость в оном войске такая застарелая, что без сильных мер в послушание и порядок почти надежды не остаётся, то для первого случая необходимо требуется построение невеликой цитадели с принадлежащим к ней комендантского дома... казарм... и порохового погреба...»

** Исстари казаки называют себя горынычами — по отчеству родной реки, Яика Горыныча, берущего начало в горах.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу Вы можете почитать в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 77-92-66